

Сергей Кузнецов

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ И МАРКИЗ ДЕ САД: СВЯЗИ И ПЕРЕКЛИЧКИ.

Любой исследователь, приступающий к сопоставлению таких разных авторов, как маркиз де Сад и Федор Достоевский, в какой-то момент оказывается один на один с методологической проблемой локализации области соположения, то есть, собственно, проблемой определения того материала (в широком смысле слова), который должен быть привлечен к его работе. Поскольку количество фрагментов, которые могут быть рассмотрены как «прямые» цитаты, исчезающе мало, то исследователь рискует впасть в распространенную ошибку: подменить того или иного автора некой «тенденцией», «традицией», «идеей» или «вкусом». В данном случае анализ искомых связей (а также сам вопрос об их существовании) могут незаметно превратиться либо в разбор темы «Садизм в прозе Достоевского», либо — в размышление о Достоевском и философии французского Просвещения.

И та и другая тема чрезвычайно широки. Действительно, мы можем без труда найти в романах Достоевского не только — многократно разбираемую ранее — полемику с идеями французского Просвещения, но и примеры садизма — в том числе не имеющего к прямого отношения к де Саду, то есть чисто психологического, «мягкого» (тут достаточно упомянуть беседы Раскольникова с Соней или Порфирия с Раскольниковым). Вне сомнения, работы посвященные как первой, так и второй теме могут (и, в идеале, должны) быть содержательными и интересными. Более того, как бы мы не пытались сузить область исследования, мы никогда не сможем вовсе исключить их из рассмотрения.

Тем не менее, в рамках настоящей работы нас интересует более частный вопрос, чем описанные в предыдущих абзацах. За подобное сужение всегда приходится платить. В данном случае, для того, чтобы сформулировать более узкую тему, нам придется принять по крайней мере одно недоказуемое предположение.

Мы не располагаем никакими сведениями, подтверждающими или, напротив, опровергающими, тот факт, что Достоевский был знаком со знаменитыми запретными романами де Сада. Как известно, имя «божественного маркиза» несколько раз упоминается в записных книжках и статье, а также четырежды — в поздней («послекаторжной») прозе. Позволю себе привести цитаты:

«Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентельмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиз де Сада и Бреньвилье. Я думаю, что в этом ощущении

есть нечто такое, отчего у этих джентельменов замирает сердце, сладко и больно вместе» («Записки из Мертвого дома», 4; 154)

«Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у нее поучиться» («Униженные и оскорбленные», 3; 364)

«Правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?» («Бесы», 10; 201)

«В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы очень, говорит, любим пуше всего девок по приговору пороть и пороть даем все парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно». Каковы маркизы де Сады, а? А как хочешь, оно остроумно.» («Братья Карамазовы», 14; 122)

Как можно видеть, во всех случаях имя де Сада упоминается скорее как нарицательное имя жестокого развратника, чем как имя литератора, автора «Жюстины» и «Жюльетты». Вместе с тем, разумеется, нельзя исключить и того, что Достоевский не понаслышке знал о его романах и не упоминал их непосредственно по соображениям «благопристойности» — впоследствии мы уточним это слово.

Итак, предположим, что Достоевский все-таки сумел ознакомиться с запретными шедеврами де Сада. Во всяком человека, захотевшем не просто «ознакомиться», а «вникнуть» в эти книги, они производят некие изменения, вызывают сильные — и не столь просто определяемые — эмоции. Разумеется, в XX веке было много сделано для того, чтобы эти чувства описать. Тем не менее, сила и необычность произведений де Сада столь велики, что многие из работ, посвященных его творчеству производят впечатление неких защитных устройств, призванных смягчить силу воздействия, испытанного их авторами. Как справедливо отметил Морис Бланшо, к Саду нельзя привыкнуть. Но и забыть о нем тоже невозможно — несмотря на самое искреннее желание.

Мы предполагаем (и это и есть упомянутое выше гипотетическое предположение), что в своих поздних произведениях Достоевский вступает с де Садам в некий странный спор, сама неявность и подспудность которого служит проявлением все того же желания забыть — не столь о прочитанном, сколько о том эффекте, которое оно производит. Сочетание этого желания и этой невозможности служит, на наш взгляд, одной из многочисленных личин пресловутого «диалогизма» Достоевского.

Таким образом, целью настоящей работы будет некое восстановление последствий этого (недоказанного!) эмоционального воздействия. Разумеется, почти все обсуждаемые ниже случаи «влияния» де Сада на Достоевского могут быть легко объяснены влиянием других авторов; однако, если предположить, что Достоевский все-таки смог прочесть де Сада, то влияние последнего должно было бы затмить все прочие.

Начнем с самого простого: с отражения у Достоевского идей де Сада.

Напомню, что даже на фоне XVIII века де Сад выделяется как чрезмерно «идеологизированный» автор, герои которого стремятся теоретически обосновать каждый свой поступок, причем — несмотря на то, что романы де Сада изобилуют действием — их рассуждения зачастую достигают десятков страниц. Ниже я попытаюсь дать краткий набросок наиболее характерных аспектов идеологии де Сада, останавливаясь на тех моментах, которые будут интересовать нас в дальнейшем.

Несмотря на ту важную роль, которую играет в садовской вселенной сексуальное вожделение, чисто чувственное удовольствие, получаемое его либертенами, возможно, даже уступает удовольствию, условно говоря, интеллектуальному. Неслучайно Клервиль учит Жюльетту, что преступления надо совершать «спокойно, хладнокровно, с сознанием цели и с ясной головой» «Преступление, — объясняет она, — есть факел, который разжигает костер страсти».

Герои де Сада беспрерывно обсуждают различные преступления, действие которых будет сокрыто от них. Так, Сен-Фон предлагает уморить голодом две трети Франции, Клервиль мечтает «придумать такое преступление, последствия которого, даже после того, как я его совершу, длились бы вечно, чтобы покуда я жива, в любой час дня и ночи, я служила бы непрекращающейся причиной чьего-то страдания, чтобы это страдание могло шириться и расти, охватить весь мир, превратиться в гиганскую катастрофу, чтобы даже после моей смерти я продолжала существовать в нескончаемом и всеобъемлющем зле и пороке.» (курсив мой - К.С.) Подобные примеры можно умножить. Особенностью этих проектов является то, что их авторы не смогут — даже теоретически — насладиться созерцанием мучений их жертв, что, по общепринятой точке зрения, и составляет сущность садизма. Де Сада, напротив, «возбуждает не объект похоти, а сама идея зла».

Иначе говоря, в отличие от заурядных садистов, удовольствие садовских героев корениться не в насилии, а в преступлении. При этом последнее понимается ими достаточно широко: речь идет не только о классических садистских преступлениях — пытках, убийствах, сексуальном насилии и унижении — но и о преступлениях менее кровавых: например, святотатстве, инцесте, воровстве или содомии. Особое место последней в де Садовском реестре объясняется, как известно, тем, что во Франции XVIII века содомия каралась смертной казнью. Вообще, как неоднократно отмечалось, классификация страстей и преступлений по де Саду определяется современным ему уголовным кодексом¹.

Де Садовские преступления зачастую (хотя и не всегда) совершенно бескорыстны: так, Жюльетта крадет перстень у Шарлотты Неаполитанской, который та только что предлагала ей подарить, объясняя что для нее имеет ценность только то, что она берет сама. По ее собственному

признанию, воровство доставляет ей одно из самых больших удовольствий.

Иначе говоря, в преступлении для садовских героев важен не столь его результат, сколько сам факт преступления.

Однако мировоззрение садовских героев, как отмечают почти все исследователи его творчества, в высшей степени непоследовательно и противоречиво. Утверждая преступление как «высшую ценность», де Сад, вместе с тем, стремится уничтожить само понятие преступления. Наиболее известным примером рассуждения, посредством которого это делается, является памфлет «Французы, еще одно усилие, если вы хотите стать республиканцами», принадлежащий перу Долмансе, одного из героев пьесы «Философия в бюдуаре».

В этом памфлете де Сад начинает с обычной рационалистической критики религии, и, обосновав в первой части необходимость атеизма для Республики, во второй на одном дыхании обосновывает необходимость (и полезность) всевозможных преступлений: грабежа, клеветы, адюльтера, инцеста, содомии, убийства и проч. Но если преступление разрешено, то оно уже перестает быть преступлением, оказывается утверждено как «дух природы» и, тем самым, теряет свою преступную ценность.*

Это двойственное отношение к преступлению (в мире не существует преступлений и поэтому следует их совершать) вызывает, в свою очередь, разделение персонажей де Сада на жертв и палачей. Принадлежность к тем или другим определяется у де Сада не столько социальным или имущественным положением героев (хотя и им тоже), сколько их собственной внутренней энергией (по Бланшо 3) или воображением и речевой деятельностью (по Барту 5). Малейший проблеск веры или жалости мгновенно переводит либертенов в класс жертв.

В описанной нами выше идеологии де Сада легко можно увидеть основные черты синтетического атеистического мировоззрения героев Достоевского: отрицание Бога и безверие, приводящее к вседозволенности; как прямое следствие этого — разделение человечества на две части: немногих, знающих истину и потому разрешающих себе преступление, и массу, не смеющую преступить через закон и потому обреченную на обман и гибель. Возможно, все эти черты могут быть обнаружены и у кого-либо из современников де Сада, но вряд ли столь же отчетливо. Добавим к этому страсть к конструированию метатопий, выступающих как утопия у де Сада (идеальная республика по Долмансе) и дистопия у Достоевского (проект Шигалева, последний сон Раскольникова).

* Подробный анализ противоречивого отношения де Сада к преступлению см. в статье П. Клоссовски «Сад и революция»² и в книге М. Бланшо «Лотреамон и Сад»³. Развитие темы «невозможности» преступления — вплоть до Ж.Жане — можно проследить по книге Ж. Батая «Литература и зло»⁴.

При этом героев Достоевского и де Сада роднит своеобразная «замкнутость на себя» («суверенность»/«автономность»/«сво-еволуция» в терминах Батая⁶); их отношения к миру строятся на отрицании всеобщих законов и заявлении собственной свободной воли. Характерным представляется совпадение слов «подпольного человека» и одного из героев «Жюльетты»:

«Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.»

«Если, скажем, за уничтожение трех миллионов живых существ тебе обещают вкусный обед, ты должна сделать это без малейшего колебания (...) ибо отказ от вкусного обеда будет для тебя лишением, между тем, как ты не испытываешь никакого лишения от того, что исчезнут три миллиона ничтожных созданий, которыми ты должна пожертвовать, чтобы получить обед, так как между тобой и твоей трапезой существует связь, пусть даже и слабая, но нет ничего общего между тобой и тремя миллионами жертв. (...) Отсюда вытекает, что колебаться в выборе между капелькой смолы и вселенной нелогично и неразумно.» («Жюльетта»)*.

В преступлениях героев Достоевского нетрудно найти параллели к концепции идейного садовского преступления: подобные преступления находятся в центре по крайней мере трех его романов. При этом и Раскольников, и Смердяков убивают «бескорыстно», «непрактично» — они не могут воспользоваться приобретенным в результате преступления. Только Петр Верховенский убивает, преследуя некую «практическую» цель; впрочем, и для него важно именно «совершить убийство»: сам объект не столь и важен. Кроме того, все «подлые» поступки, рассказываемые на именинах у Настасьи Филипповны, характерны именно тем (и подлы именно потому), что совершенно бесцельны; они сделаны только из любви ко злу.

Излишне говорить, что идея Раскольникова о том, что для «избранных» нету законов, чрезвычайно близка садовскому «деспот — это тот, кто создает законы, кто по своему усмотрению изменяет их и заставляет

* Впрочем, сопоставление цитат дело, конечно, достаточно рискованное. Читателю, обладающему вкусом к подобного рода риску, можно предложить сопоставить слова Лебезятникова: «И если я когда сожалел, что у меня отец и мать умерли, то уж, конечно, теперь. Я несколько раз мечтал даже о том, что, если бы они еще были живы, как бы я их огрел протестом! (...) Я бы им показал! Я бы их удивил! Право, жаль, что нет никаго!» (6; 282) и признание Минского (не единственного, кстати, из русских героев «Жюльетты»): «Увы, мой отец ускользнул от меня и я до сих пор от этого страдаю. Он умер, когда я был еще слишком молод». Впрочем, мне подобное сопоставление представляется все же сомнительным.

служить собственным интересам». Один из героев «Жюльетты» говорит Екатерине II: «Закон? Что значит закон для вас, которая сама есть закон?». Критика понятия «преступления» идет рука об руку с критикой «закона»: «Что такое преступление? Этим словом называют любое формальное нарушение, будь то невольное или преднамеренное, того порядка в человеческом обществе, который известен под именем «закон». Следовательно, это всего лишь случайное и бессмысленное слово, поскольку все законы относительны и зависят от обычаев и правил поведения, а те, в свою очередь, определяются временем и местом обитания». Для подтверждения этой мысли на свет являются многочисленные исторические примеры жестокостей: де Сад отдает предпочтение древности, Раскольников предпочитает говорить о Наполеоне и современной войне («почему лупить в людей бомбами, правильной осадой более почтенная форма?»)

Это отношение к закону усиливает ту двойственность преступления, о которой говорилось выше: если нет закона, нет и преступления, значит, нет и сладости в его нарушении. Как известно, подобной же двойственностью отличается и преступление Раскольникова: либо убийство это преступление, которое должно быть искуплено «добрыми делами», либо — это вовсе не преступление, потому что Раскольников «право имеет». Размышления Раскольникова в «Эпизоде» романа также звучны одному из основных законов садовской вселенной:

«Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он сам себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово злодеяние? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны были бы быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и поэтому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг» (6; 417).

Таким образом, раскаяние ведет Раскольникова к мирскому «наказанию», подобно тому, как предвестником гибели героев «Жюльетты» служит пробуждающееся в них раскаяние. Те, кто не могут «вынести», оказываются «не правы», и, в свою очередь, подлежат уничтожению. Разумеется, в де Садовском мире за мирским наказанием не следует духовного взлета — в отличие от Достоевского.

Отметим, что вопрос о том, существует ли преступление, сильно волновал Достоевского: к вопросу о влиянии «среды» на преступников он неоднократно возвращается не только в романах, но и в «Дневнике писателя». В 1873 году Достоевский пишет о том, что главное то, чтобы преступник сам осознавал преступность своего деяния: то есть для него существовало понятие преступления. («Что же, если приготовившись к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» (21; 18)) Даже в пародии на тургеневское «Довольно!» — карамазиновском «Мегсі!» — проскальзывает та же тема:

«...когда мы сидели под изумрудным деревом, и ты воскликнула радостно: «Нет преступления!». «Да, — сказал я сквозь слезы, — но коли так, то ведь нет и праведников!». Мы зарыдали и расстались навеки» (10; 367).

Чуть позже рассказчик комментирует:

«Он берет чужую [европейскую — К.С.] идею, приплетает к ней ее антитезу, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления; правды нет, праведников нет» (10; 367).

Говоря о «Бесах», нельзя не упомянуть Кириллова, которого так же, как и садовских героев, «съела идея». Даже мысль о смерти, которая должна подтвердить правоту идеи умирающего встречается у Сада: более мягкий пример Ролан из «Жюстины», инсценировавший свою казнь, чтобы убедиться, что смерть не страшит его; Жюльетта говорит, что «меньше всего на свете я страшусь петли. Разве ты не знаешь, что во время повешивания человек испытывает оргазм? А ради лишнего извержения я готова на все. Если меня пошлют на эшофот, я взойду на него с высоко поднятой головой и ясным взором». Добавим к ним знаменитую Амелию из «Жюльетты», мечтавшую «погибнуть жертвой жестоких страстей разврата».

Разумеется, нельзя ставить знак равенства между героями де Сада и Кирилловым, однако эти примеры показывают, что, подобно Достоевскому, де Сад ясно видел, что отвлеченная (и, как сказал бы, Достоевский, «самая дикая») идея может оказаться для человека «дороже жизни».

Отметим, что все сказанное выше не касалось того, что прежде всего бросается в глаза при сопоставлении Достоевского и де Сада: пристального внимания обоих авторов к жестокости и сладострастию. Именно с этим, прежде всего, ассоциировался у современников Достоевского де Сад — приведенные выше примеры упоминания его имени самим Достоевским достаточно характерны. По всей видимости, именно болезненную жестокость романов Достоевского имел в виду Тургенев, когда в одном из своих писем называл его «русским де Садам».

Ключевой сценой при анализе жестокости у Достоевского является, на наш взгляд, разговор Ивана и Алёши Карамазовых, знаменитое «pro и contra». (Отметим в скобках, что Вик. Ерофеев уже упоминал в связи с де Садам Ивана, отсылая, правда, к сцене его беседы с чертом⁷)

На первый взгляд то, что говорит Иван Карамазов, продолжает традицию просветительской критики Бога за его «жестокость». (Неслучайно его исповедь начинается с цитаты из Вольтера.) Действительно, принимая идею Бога, Иван отказывается принять «созданный им мир». Для него зло и грехи мира не могут быть искуплены будущим спасением; мировая гармония не стоит слезинки ребенка. (Отметим, в скобках, инвертированность цитированной выше фразы «подпольного человека»: и тут и там весь мир противопоставляется и обесценивается по сравнению с малейшей индивидуальной эмоцией — удовольствием в одном

случае и страданием в другом. Ниже мы увидим, что Достоевский хорошо понимал их тесную связь.) Складывается впечатление, что Иван утверждает, что созданный Богом мир «плох», потому что невинные дети обречены в нем на страдание.

Сам по себе этот довод не нов; атеистическая мысль всегда стремилась использовать людские страдания для обвинения Бога*. Со времен Вольтера классическим примером подобной жестокости Бога являлись стихийные бедствия. Действительно, что может быть «логичнее», чем инкриминировать Богу то, за что отвечает он, а не люди: землетрясения или эпидемии? Страдание, порождаемое ими, огромно, а количество невинных жертв не намного уступало войнам прошлого века.

Несмотря на очевидность этого хода, Иван не делает его. Все примеры страданий, приводимые им, однотипны: это страдания, вызываемые непосредственно людьми. Неслучайно глава «Бунт» начинается с длинного рассуждения о том, что «другой никогда ведь не может узнать до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я» (14; 216). Это — садовый тезис. Разумеется, выводы де Сада противоположны ивановским. Длинные рассуждения героев де Сада могут быть кратко суммированы в силлогизме типа: поскольку чужие страдания не ощущаются нами непосредственно, они ничего не могут значить для нас и поэтому мы не должны отказывать себе в том, чтобы доставлять другим людям страдания, если это доставляет нам удовольствие. Несмотря на то, что Достоевский также хорошо чувствовал связь наслаждения, желания и страдания («Желание и страдание для нас, — говорит Верховенский Ставрогину, — а для рабов шигалевщина» (10; 323)), он, разумеется, не принимал — и не мог принять — выводов де Сада. Важно, однако, что сам по себе тезис о «чужом страдании» может вызывать именно такое следствие. И все, приводимые Иваном примеры, опровергают его собственный тезис, о том, что чужое страдание оставляет человека равнодушным. Нет, напротив, его можно почувствовать, но только в одном случае: если это страдание причиняешь ты сам. Турки прибывают пленников за уши, родители до сладострастия истязают свою дочку, помещик травит собаками ребенка на глазах матери. А что, страдание было бы меньше, если бы ребенка разорвал на глазах матери волк? В этом случае не следовало бы «возвращать билет»?

Внимательно прочитав исповедь Ивана, можно убедиться, что Иван не принимает божий мир не потому, что в нем есть место страданию, а

* Сейчас мы не касаемся, собственно, вопроса об «теизме» или «атеизме» Ивана. Тот Бог, который предстает в его исповеди, причудливо сочетает в себе черты Христа, обещающего мировую гармонию, и «злого» гностического Бога, в которого могли верить даже герои де Сада («Бог, устроивший все это — очень мстительное, очень жестокое, порочное, преступное и очень несправедливое существо»).

потому, что в нем есть место наслаждению страданием. Иначе говоря, потому что может существовать такая книга, как «Жюльетта».*

Судя по всему, мысль об ужасности «наслаждения страданием» посещала и самого Достоевского. Можно обратить внимание, что исторические анекдоты о человеческих мучениях проскальзывают в его романах не многим реже, чем у де Сада. В «Идиоте» — вовсе не так заостренным на теме «жестокости» и «преступления», как «Преступление и наказание», «Бесы» или «Братья Карамазовы» — князь рассказывает о смертной казни и рассуждает, не способствует ли пытка облегчению нравственных мук казнимого, Лебедев рассказывает о казни графини Дюбарри, Ипполит — о казни Степана Глебова, который был посажен на кол при Петре и просидел пятнадцать часов и о старичке-генерале, которого вспоминали даже те из «несчастных», которые «закололи шесть штук детей, единственно для своего удовольствия (такие, говорят, бывали)» (8: 335 — 336). Как сказал бы сам Достоевский, эти скобки многого стоят. Что, тем более, говорить о «Дневнике писателя», наполненном рассуждениями о «о сдирании кож вообще» [1877] и в частности:

«Он бил жену чем попало несколько лет сряду — веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. (...) Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. (...) Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было удовольствие ему бить? (...) Удары сыплются все чаще, резче, безчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино (...) Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! (...) Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую...» (21; 20 — 21)

«Недавно, то есть несколько месяцев тому назад, в одном из наших знатнейших монастырей случилось, говорят, что один глупый и злой монах убил в школе десятилетнего мальчика жестокими побоями, да еще при свидетелях» (21; 82)

«Одна старуха уцелела в одной деревне и бродит, обезумевшая, по своему пепелищу. Когда же ее начинают спрашивать, как было дело, то она не говорит обыкновенными словами, а тотчас прикладывает правую руку к щеке и начинаете петь и напевом рассказывает, в импровизи-

* Разумеется, вовсе не требуется, чтобы хоть что-то описанное в ней было правдой; достаточно того, что нашелся человек (маркиз де Сад), который захотел это описать.

рованных стихах о том, как у ней были дом и семья, был муж, были дети, шестеро детей, а у деточек, у старших, были тоже деточки, маленькие внуки ея. И пришли мучители и сожгли у стены ее старика, перерезали соколов ее детей, изнасиловали младшую девочку, увели с собой другую, красавицу, а младенчикам вспороли всем ятаганами животики, а потом зажгли дом и пошвыряли всех в лютое пламя, и все это она видела и крики деточек слышала»

Примеры можно умножить; при этом я не касаюсь «дела Кронберга» [1976], которое и имеет в виду Иван; при этом я не касаюсь многочисленных рассказов о преступлениях и убийствах, совершенных с корыстной целью: о святотатствах, типа стрельяния из ружья в облатку [«Дневник писателя», 1974 г.] и т.д.

Достоевский неоднократно пытался проникнуть в душу садовского преступника, нащупать те пружины, которые приводят в действие его безжалостный механизм. Одна из первых попыток предпринята в «Записках из подполья». Это рассуждение пока еще довольно спокойно по тону:

«Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений* и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа.» (5;112)

Было бы соблазнительно объяснить «наслаждение кровью» тлетворным влиянием цивилизации. Далее Достоевский однако приводит — вполне в стиле де Сада — исторический пример:

«Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах» (5; 112)*.

Привденное чуть дальше объяснение («золотые булавки от скуки втыкаются») только кажется банальным. В рамках рассуждений «подпольного парадоксалиста» скука выступает реакцией на научность и системность, а втыкание булавок служит — почти по современным интерпретациям де Сада — способом разрушить любую систему.

Последняя попытка анализа предпринята Достоевским в «Братьях Карамазовых» и тоже косвенно связана с Иваном. Я имею в виду главу «Бесенок», в которой Лиза Хохлакова рассказывает о своем желании «делать злое».

Как известно, эта глава завершается рассказом Лизы об убийстве младенца, которое она прочла в какой-то книге:

* Отметим, что в статье «Ответ "Русскому Вестнику"» Достоевский впрямую соотносит Клеопатру с маркизом де Садам: «Перед ней маркиз де Сад мог бы показаться ребенком. Разврат ожесточает душу» (19; 136).

«— Жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасовый компот есть. Я очень люблю ананасовый компот. Вы любите? (...) Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня все эта мысль про компот не отстает» ((15; 24).

«Ананасовый компот есть» это ведь почти «чай пить». Отметим, что романы де Сада наполнены сценами, описывающими пиршество при виде умирающих в мучениях жертв. Герои Достоевского реализует эту картину как метафору.

Характерно, что первым, кому Лиза рассказала про жида и мальчика, был Иван Карамазов. Замечание Алеши, что он «сам, может, верит ананасовому компоту» (15; 24), может служить еще одним подтверждением обоснованности нашей интерпретации исповеди Ивана.

Следует отметить, что в рассматриваемом эпизоде Алеши и Лизы Достоевский так и не дает ответа, почему в человеческом сердце появляется сладострастная тяга к жестокости: « — Есть минуты, когда люди любят преступление, — задумчиво проговорил Алеша» (15; 22). И чуть раньше:

« — Почему это так приятно, Алеша?

— Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает» (15; 22).

Таким образом, самый дорогой автору персонаж, наделенный способностью к пониманию и сочувствию, не может найти никакого ответа кроме «Так». Мне кажется, это признание своей капитуляции в споре с Иваном: Алеша способен ответить на заданный вопрос о том, кто может простить подобные преступления, но не может объяснить, каковы их причины.

Я специально не касаюсь собственно «сексуальных преступлений» Ставрогина и Свидригайлова: как ни странно, они имеют меньшее отношение к де Саду, чем те проявления сладострастной жестокости, о которой мы говорили выше.

Обратим, однако, внимание, что жертвой в обоих случаях выступает маленькая девочка. Напомним, также, что тема поруганной маленькой девочки еще дважды всплывает у Достоевского: «Сороколетний бесчестит десятилетнюю девочку — среда, что ль, его на это понудила?» (6; 197) , «А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?» (10;185)

И, словно эхом, будущим словам Лизы, Кириллов отвечает: «Хорошо».

Это внимание к «растоптанным детям», разумеется, не случайно. Достоевский, возможно больше чем любой другой русский писатель, благоговел перед детьми, вызывавшими у него чувство — его собственное слово — «умиления».

Надо ли говорить, что подобное «умиление», вызываемое слабостью другого, есть зачастую оборотная сторона садистической жестокости?

«Иногда я слышу дурацкие восклицания типа: «(...) Как можно спокойно взирать на слезы прекрасной девушки, которая, прикрывая грудь руками, молит о пощаде своего мучителя?» Какая ерунда! Это как раз то, из чего распутник извлекает самое изысканное удовольствие. (...) Красота, добродетель, невинность, нежность, несчастье — ни одно из этих свойств не может защитить предмет, который мы желаем. Напротив, красота еще сильнее возбуждает нас, добродетель, невинность и нежность делают предмет еще аппетитнее, несчастье влечет его в наши сети, делает его податливым» («Жюльетта»).

«Красота, добродетель, невинность, нежность, несчастье» выступают у обоих авторов только предпосылками будущей «униженности и оскорбленности» их обладателей; да и вырисовываются только на этом — иногда явном, иногда подразумеваемом — фоне*. Разумеется, чувства «трогательности» и жестокость должны уживаться в одном человеке:

«Так как многое его иногда трогает сердечно, то он в страшном припадке злости и гордости бросается в разгул» [Из набросков к «Житию Великого Грешника»].

Отметим, что Достоевский признавал, что влияние книг, подобных книгам де Сада, может быть чрезвычайно велико. Алеша спрашивает Лизу: «Вы все по-прежнему дурные книги читаете?» и потом: «Как вам не совестно разрушать себя?»

В набросках к цитированному выше «Житию Великого Грешника» несколько раз упоминается «Тереза-философ», анонимный эротический роман XVIII века, высоко ценимый самим де Садом. Наиболее примечательны две записи: «“Therese-philosophe” — избил его за это, а книжку удержал у себя», «“Therese-philosophe” смутила Тихона. “А я думал, что уже закалился”» (9;138)

* Широко известно влияние, оказанное на Достоевского Диккенсом. Между тем, стоит обратить внимание, что последовательность злоключений и обманов, выпадающих на долю героев последнего, поразительно напоминают сюжетную схему «Жюстины». В самом своем «диккенсовском» романе Достоевский блистательно компенсирует ничтожество диккенсовских «злодеев» энергичным Валковским, уступающим, впрочем, по «энергии» героям де Сада.

Здесь можно видеть все основные черты реакции на подобные книги: возмущение («избил»), невозможность забыть («удержал у себя») и невозможность привыкнуть («думал, что уже закалился»).

Подобно де Саду, Достоевский предпринял попытку анатомии разврата и жестокости* ; подобно де Саду он видел их корни в умершей вере в Бога. Но даже знание корней не способно спасти от тех чувств, которые будит в человеке то, что открывается ему при подобном исследовании.

Ужас человека, видящего страдания других людей — это простейший ужас и, как показывает де Сад, он может быть сравнительно легко преодолен и замещен наслаждением. Ужас, испытываемый Достоевским — ужас второго порядка, ужас, возникающий при виде того наслаждения, которое вызывают страдания. И если де Сад первым описал бездну абсолютного зла и жестокости, то за Достоевским, по всей видимости, остается первенство в описании тех чувств, которые вызывает в стороннем наблюдателе само зло. Эти чувства не могут быть названы, а могут быть только описаны. Они существуют независимо от возможных объяснений их самих и того, что видит наблюдатель. Более того: сам факт объяснения — «теории», «идеологии» — может только притупить их.

В этом смысле де Сад ближе нашему веку, чем Достоевский. Сталкиваясь с проявлением зла, мы спешим назвать его «садизмом», «фашизмом», «коммунизмом» или «сатанизмом», изо всех сил заглушая в себе то чувство, которое поднимается из глубин нашего существа.

Достоевский не написал про творчество де Сада ни одного слова: возможно, это честнее всего

Литература

- 1 М.Рыклин. Театры маркиза де Сада. «Комментарии», 1, 1992.
- 2 П.Клоссовски. Сад и революция — в сб. «Маркиз де Сад и XX век», М. 1992.
- 3 М.Бланшо. Лотреамон и Сад — в сб. «Маркиз де Сад и XX век», М. 1992.
- 4 Ж.Батай. Литература и зло. И-во МГУ, 1994.
- 5 Р.Барт. Сад-1. «Диапазон», 1992.
- 6 Ж.Батай. Суверенный человек Сада. — в сб. «Маркиз де Сад и XX век», М. 1992.
- 7 Вик. Ерофеев. Маркиз де Сад, садизм и XX век. — в Вик. Ерофеев. В лабиринте проклятых вопросов. М. 1992. **

* Из набросков к «Житию Великого Грешника»: «Действие разврата: ужас и холод от него». И далее: «пустота, грязь и нелепость разврата поражают его».

** Автор выражает благодарность Карену Степаняну за помощь, оказанную при подготовке статьи.